



ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

# РАСПУТИН

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

*ЖИВИ И ПОМНИ*

р у с с к а я    к л а с с и к а

# Валентин Григорьевич Распутин

## Живи и помни (сборник)

### Серия «Эксклюзив: Русская классика»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=36965167](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36965167)*

*Живи и помни: [сборник] / Валентин Григорьевич Распутин: АСТ;*

*Москва; 2018*

*ISBN 978-5-17-106023-7*

### Аннотация

Повесть «Живи и помни» – трагичная, полная горькой правды история. Андрей Гуськов, тяжелораненый солдат с фронта, после госпиталя решает повидаться с родными, прежде чем снова отправиться на войну, однако сразу становится дезертиром. Опасаясь ареста, он так и не приходит домой, долгие месяцы скрываясь в окрестностях родной деревни. Его обнаруживает только жена Настена – и поддерживает мужа, помогает ему и хранит его тайну.

«Живи и помни» – это и произведение о войне, испытывающей и ломающей человека, и история об одновременно простой и загадочной, преданной женщине. Повесть переиздавалась множество раз в России и за рубежом.

В сборник вошли и другие произведения Распутина разных лет – «Уроки французского», «Василий и Василиса», «Наташа», «Что передать вороне?», «Век живи – век люби».

# Содержание

Живи и помни	5
1	5
2	12
3	20
4	27
5	45
6	56
7	68
8	78
9	87
10	111
Конец ознакомительного фрагмента.	125

**Валентин  
Григорьевич Распутин  
Живи и помни  
*Сборник***

© В. Распутин, наследники, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

# Живи и помни

## 1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился – нет топора. Обыскал все – нет, поминай как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор – не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял

старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка – легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь шевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выпалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледеленым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, ни-

кого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым, полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», – упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как замороженная, посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веши под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва пове, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, заклинаящим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена – ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то беспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, – вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашли свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени – на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурки.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше не вмоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.



Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный – морозы только еще начинали сдавать, – но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпать наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет по-

сидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопресть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

– Господи! Кто это, кто? – крикнула она, обмирая от страха.

Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.  
В деревне взнялись и затихли собаки.

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов – не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб – и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи – стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости – многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день. Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более

громкого и пугающего, – от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей – слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекочевало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» – и смысл вроде остается, и уши не корбит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

– Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил – не нашли. Так

девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаванием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютиная, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче: принесли свое огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъестся было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавливающий на плотах горячее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горячим, Андрей

тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, — без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем. Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки. Характер у нее выказался несладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова — надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее обляять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае

могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же, – вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попала и покладистая, и работающая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а, скажем, принести с Ангары воды или почистить в стойке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить – то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба – уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, ра-



дуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной ма-еты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить – будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом – в страх. За какой-то год Андрей полностью переменялся к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина – она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибываясь к старинному правилу: сошлись – надо жить. Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела не много, но и дурить он

стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятами, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома – так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед Рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангараы они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

– Какие имеете известия от сына? – строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

– Больше он о себе ничего не сообщал?

– Нет. – Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. – А че такое с им? Где он?

– Вот это мы и хотим выяснить – где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать – сообщите нам. Понятно?

– Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

– Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?

– Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

– Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно чернело перед ней в слабом мерцании, которое исходило в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается – настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

– Искали меня?

– Милиционер недавно приезжал, и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

– Отец, мать догадываются про меня?

– Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

– А ты, значит, догадалась?

Она не успела ответить.

– Хлеб ты приносила?

– Я.

Он помолчал.

– Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю, – с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. – Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. – Он опять больно сдвинул ее плечо. – Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

– Понимаю.

– Ну и что?

– Не знаю. – Настена бессильно покачала головой. – Не знаю, Андрей, не спрашивай.

– Не спрашивай... – Дыхание у него опять поднялось и запрыгало. – Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому – убью. Убью – мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

– Господи! О чем ты говоришь?!

– Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери – к тебе. И никто: ни мать, ни отец – не должен обо

мне знать... Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих. Но если ты не хочешь этим делом руки марать – скажи сразу.

– Что ты меня пытаешь?! – простонала она. – Чужая я тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами – после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо было бы, наверное, что-то делать – хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча – в ба-

не среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо, а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, – вся эта встреча выходила чересчур неправдашной, бессильной, пригрезившейся в дурном забытии, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, на послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое похожее на ласку прикосновение; Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

– Как вы тут хоть жили?

– Тебя ждали, – сказала она.

– Дождались. Дождались-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступить к нему, откуда ни возмись, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

– Может, помоешься?

– Надо помыться, – торопливо и даже как будто обрадованно согласился он. – Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

– Для тебя.

– Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

– Остыла, поди, совсем? – зачем-то спросила она.

– Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

– Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полужнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего – ни утешения, ни горечи – она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

– Надо было хоть белье тебе принести, – сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подталкивая себя к разговору.

– Черт с ним, с бельем, – отозвался он. – Я тебе счас



скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

– Живая.

– Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

– А что я ему скажу про ружье?

– Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье – мясо я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же, попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

– Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

– Куда ты пойдешь? – спросила Настена.

Он хмыкнул:

– Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

– Не забуду.

– И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше.

Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

– Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? – неожиданно спросил он с порога.

– Радая.

– Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

– Нет.

– Кто?

– Муж.

– Вот: муж, – с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выхода из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно, недалкий, пока не упрушься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соотносить, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним случилось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх – многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же,

где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила его на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настенкой у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных, чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадыва-

ли, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это она, однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу – достаточно, войну не заворишь. Но знай он, что та фигура, которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, вовсю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим – не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, – скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченный человек. Да неужели и впрямь конченный? Отказываясь, со взывавшим недобрым упрямством он вслух пообещал:

– Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж

с вами-то ни черта не сделается – увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошла мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды, еще до своего отбытия с фронта, он не уберется и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли

отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней – ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался – это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж либо пан, либо пропал, а поддержишься, побережешься – погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, – не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку – коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнотбойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.



К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть – уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступить, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил – живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых – не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило – конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, – лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти

сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все – плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности: раненные заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. «Дней на десять отпустят, – определили Гуськову, – не меньше». Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они – знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, а для них – особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга, – разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что дол-

го ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать – и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными – с отцом, матерью, Настенкой, – этим и жил, этим и выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад – сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей же стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу – тогда он опять готов на что угодно.

И Настенку не пустил – не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал – все легче. Она бы и проводила, а когда провожают – надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах – есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве, словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек – почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, – как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, – и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет – туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет войны – сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговаривался в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

– А тебе куда? – спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

– В Иркутск.

– Вместе поедem, – обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, посадив своего нового

товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня – не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше – дня тоже не хватит. И двух не хватит – зима. А возвращаться с полдороги – зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного – самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго – совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его –

нет. «Шкура! – говорили. – Ну и шкура! Всех захотел пере-хитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно – вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза – рано утром и вечером – и приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке – кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой Бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже са-

мому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая, душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба. Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только – чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячася, она маячила на пальцах быстрее, торопливей – он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Остаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот – те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня – не та, за кого она себя выдает.

Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго – застрял совсем, думал о Настене – оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай – не рас-



хлебать, кайся – не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хотя на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна – домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал – не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрел до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зи-

мовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, – то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой: сюда и в прежние-то годы мало кто заглядывал, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому правому рукаву.

Атамановские поля и уголья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене и по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так – Покосным – и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья, одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждать, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переправлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или

куда-нибудь еще – на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая беспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним случилось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и зайдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате – бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит – не поймаешь. Отступить было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

– Ну и на сколь?

– На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову

и не поверил:

– Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

– Какие шутки...

– А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

– Нету.

– Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, – он кивнул на печку, где лежала Семеновна, – может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

– Сказали, в последний раз. Для победы.

– Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

– Цё, цё она говорит?

– Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской – спущенную цифру подняли, не уронили, – с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему.

– Нестор Ильич, – даже повеличала, чтобы подольститься, – кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить?

Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

– Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты – не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

– Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

– Ты только обратно ее потомпусти. – И подмигнул Настене. – Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но

провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и, кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится – неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

– Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. – И попросил дрогнувшим голосом: – Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел



керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уже его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно – Михеич сказал:

– И посмотри там, дева, в охотке пороху да дробу. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

– Седни-то обратно ждать, нет?

– Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

– Но-но. Не седни, дак завтра. – И не утерпел, вспомнил: – Не могла ты вчера с самого утра куда-нить ухлестать? Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполтину мене язык-то свой высывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с Богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уже в который раз зудила с печки:

— Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О Гошподи! Не знают, на кого и вешаться. — Язык Семеновны звучал на свой лад. — Ить он за кошевкой вшо дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

— Ладно, ладно, старая, не выдумывай, — останавливал ее Михеич. — Лежишь — ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться — за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он — Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко наемкать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую

встречу, – пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась, ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука – все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда – деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребяташками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской завети давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все

вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике – вперед, Настена! Не бойся, Настена, – вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью, твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами – она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой – ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался – все, будто на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво – ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев – вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко — сама не думала, что так сумеет, — вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась — давно бы так — и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант — самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук — откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут,

как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею – все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава Богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась как в лихорадке и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, – и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и

выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дыма, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать. А ведь это только начало – что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

– Ну, здравствуй, что ли, – сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку – его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее беспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился – видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь – и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.



– Вот, – с виноватой улыбкой снова начала она, – приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

– У меня теперь все дни черные, – впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно. Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

– Куда ты?

– Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

– Сейчас пойдем вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами вроде «возьми» да «подай». Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась – нет, надо было что-

то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвасталась ему:

– Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать.

Он в ответ бегло кивнул.

– Это что же получается? – обиделась Настена. – Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

– Не пущу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед, слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

– Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

– Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили – или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит – вот и голова,

не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, – верный, только ей известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок – говори что хочешь, смейся, дури, все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и неохотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

– А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

– Почему чудной?

– Да какой-то... – Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. – Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной – ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

– Ну и как нечистая сила?

– Ничего. Но свой мужик лучше.

– Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

– Зачем?

– Чтобы не походить на лешего. – Он сказал и тут же одумался: – Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

– Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, – спохватилась Настена. – Приехала тут разговоры разговаривать. –

В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. — Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

— Никто, говоришь, не колошматил?

— Ну.

— Соскучилась, что ли?

— Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я счас.

— Надо хоть чаю поставить, — вспомнил он.

— Ставь — что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним — так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбегать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки — не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится — тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверное, в запыленной бутылки самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час

поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посуды — из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену — и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолок доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невеста как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекаясь на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему

он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось – настолько все казалось неправдашным, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

– Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, – неизвестно к чему сказала она. – Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола – она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

– Отскожь, не морочь, я тебя не знаю.

– Чего-чего?

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

– Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они – пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытать его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, – тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

– Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытывала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужем, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это

был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

– Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубашку и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

– Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

– Сейчас уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так – будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

– Ты не рассердишься, если я усну? – слабым и счастливым голосом спросила она.

– Спи, спи.



Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, — она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубело, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели — это от работы. От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще беспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», — зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось нев-

мочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился – так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавалась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом. Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезло. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты, он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку – Настена все еще спала. Не находя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную пустоту – это всегда помогало ему уснуть, – скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась

ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

– Так сладко поспала, – сказала Настена. – Уж и не помню, когда еще так доводилось – на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

– Возвернись я туда, я бы там и остался – это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так – не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря – теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами – так легче было говорить – и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратить.

– Но как, как ты насмелился? – вырвалось у Настены. – Это ж непросто. Как у тебя духу хватило?

– Не знаю, – не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает. – Невмоготу стало. Дышать нечем было – до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж воротаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

– Война кончится – может, простят, – неуверенно сказала Настена.

– Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба извест-

ная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощения, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно было жить. И правда – чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся – век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать – и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть – и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспохват, я должен тебя на руках носить.

– Ну что ты, что ты, – начала Настена, но он перебил ее:

– погоди. Начал, так dokonчу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощения да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все – хоть убей. А тут ты сегодня обогрела – впору скулить от радости. – Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. – Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынес-

ла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

– На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. – Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. – И ты – слышишь, Настена? – и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испугалась Настена и тоже приподнялась. Теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

– Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпро-

стать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

– Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? – спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

– Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все как есть. В другой раз я бы, наверное, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет – тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

– Ты как-то страшно все время говоришь...

– Не бойся. Я не тебя пугаю – себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

– Что мне говорить...

– Как там мать – ходит?

– Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает – сама. Так и не научусь, поди, никогда хлеба печь.

– Отец все в конюховке?

– Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

– Что такое?

– Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет. А он сном-слухом не чуял – ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

– Стариков пока не бросай, – сказал он и опять затмился, задумался. – Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

– А как же, Андрей, дальше-то? – несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. – Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война – что им потом думать? У них вся надежда на тебя.

– Надежа, надежа... – Он вскочил и заходил по зимовейке. – Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки – и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружили. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам Господь Бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был – и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан – тыщи людей не могут най-



ти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто не помнит себя – все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда – сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

– Еще неизвестно, что лучше: точно знать – твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать – чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит – не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет – все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. – Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: – Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

– Как же я останусь?

– Еще-то приедешь?

– Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

– Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я

выдюжу, мне этого дня надолго хватит.

Настена вспомнила:

– Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. – Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в углу два холщовых мешочка – с порохом и дробью. – Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

– Мне и половины за глаза достанет, – обрадованно засуетился над мешочками Андрей. – Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! – Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: – С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

– Ну тебя! – не слыша, разволновалась Настена. – Прямо сердце зашло – до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

– Прибегай, я приучу.

– Да я-то бы каждый день прибегала.

– За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю; Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оде-

лась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

– Ой, что за чудовина такая?

– Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого – не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

– Господи, да их и в руки брать боязно.

– Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, спрыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала – до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать, – все сплошь обметало каким-то сквозным, со-сущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте – так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдаст-ся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до костей.

Столько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли – не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячешься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить вполъязыка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь – отступить от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь, – без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И, может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это

совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвечающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не Бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он — здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены — как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу – нагрудом, лежалом, заброшенном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла, отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже подмякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким, смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белую и черную краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срыва-

ясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было – неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубки, поля, покосы.

По берегу снова шел – не шел, а катил – Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские – что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На тре-

тий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался – то ли от непогоды, то ли от людей. Скорей всего от людей – зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей, – не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье – свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Ка-



менном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, тарасился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неуютный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного, острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно – может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие. Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интерес-

но, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выйти на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подсклась, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и моля ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подышающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза – они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней

и просторней нижнего: срубленное из листвяка и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержишь, разведи он огонь, и закурится на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и, едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпускало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбаливался, накачивали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть,

сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Близко локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами – вдруг укусишь? – но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще – неизвестно. Но находило, схватывало – не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда – как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо

до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалась, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от направленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую, на одном длинном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней – настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить – по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать», – со злоградской, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадав-

шись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик – Максим Вологжин. Хотя если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после Покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненный, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика, деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали

у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

– А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой.

– Хоть так повоюет, – со злостью сказала Надька. – Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

– Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? – вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. – Наклепал ребятишек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? – Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. – Кто теперь



меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов – и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, приохиная, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отежные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

– Слыхала, Максим Вологжин пришел?

– Слыхала.

– Ты там не была?

– Нет.

– Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

– Пошел бы ты, штарый, шам, – застонала Семеновна. – Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

– А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

– Ой, да делайте как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка

в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего — чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но, едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, — он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком — это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше — тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленной, глаза прищурились, словно присели от тяжести,

костистое лицо еще больше заострилось – так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

– Сходи, дева, сходи, – отправлял он Настену. – Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно, только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятшек, чтобы они замолкли.

– Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее умяли, – принялась она жаловаться Настене. – Ну, не прорва ли, не прорва ли! – скажи ты мне. И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? – прикрикнула она опять на Лидку. – Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и она же еще и ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось – и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся – и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть

бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то, балбес, уже не маленький, – Надька ткнула рукой в сторону Родьки, – должен бы хоть немножко че-то соображать – нет, лишь бы сейчас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаedные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подышайте, раз так – не жалко.

– Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить, – буркнул от окна Родька.

– Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом годе не проедали твою рыбу и нонче объединимся. Куда только кости от рыбы девать станем – никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

– Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

– А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не нагладишься.

– Не пойдешь, что ли?

– Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан, – крикнула она на Родьку. – Неси дрова да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи наострить. Дома весь вечер будешь сидеть – так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и закачнулась:

– С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

– Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребяташки как ребяташки, а эти идола какие-то, наказание Божье. Ой, че с них будет, че с них будет? – кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дожидаться и самое лучшее – уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильнее, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работающий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы

Надька ни разорялась перед ним. Надоест – сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька – там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку, – Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого; свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало – ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливými, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаясь мать, – до того сироты и пострадалицы, что

у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уже смерклось, пожухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер – ни голоса, ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с крошечной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними, – пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных былолюдно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он – Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, за-

бинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

– С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

– С возвращением.

На лавке вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла – сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь – сияло все, сияла вся, сияла всюду. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

– Еще утром ниче не знала. Ячмень вместе чистили. Ячмень... – Всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них – на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

– Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать?

Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не



сразу подняв голову, она ответила:

– Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

– Кто – Андрей потерялся?

– Он в госпитале лежал... тоже раненный. А после его обратно, на фронт. – Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича. – С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

– Ну, найдется.

– Дак это... всерьез потерялся, – взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену. – Тут с расследованием приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

– Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит, – уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из

них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло – теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за куруво; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке – о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно – видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватила за отца, закричала – пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал – добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

– А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

– Куда в сторону? Зачем?

– Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

– Мешать будет, Лиза отрубит.

– Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, – ухмыляясь, заявил Нестор.

– Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, – взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. – Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

– Я над вами куражился? – обиделся Нестор. – А, бабы? Я куражился?

Бабы молчали.

– Слушай ты ее, – вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой, – толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

– А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

– Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, – важно наставляла Василиса Премудрая. – Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

– Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расска-

жем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтали сквозь кашель старики.

– Я знаю, – наступала Надька, – это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охмутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

– Я за Гаврилу спокойная, – насмешливо ответила Василиса.

– Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

– Святой не святой, а с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

– Ой, глядите-ка, сравнила! – обрадованно зачастила Надька. – Я сорока – ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

– Нет, Надежда, – хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович. – Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько – посылков пять, однако, в этом году было? – обернулся он к Василисе. – Или поболе?

Та замялась:

– Я не считала.

– Она их даже не открывала, – съязвила Надька. – Вместо табуреток держит.

– А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

– Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? – спросила она.

– Ни одной не получала.

– Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

– А мне и не надо никаких посылок, – счастливо засмеялась Лиза. – Я сегодня говорю: давайте корову забьем. Вот тятя не даст соврать: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст Бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

– Значит, загибла бы? – натянуто, с подманкой переспросила Надька.

– Загибла бы, загибла.

– А то руки на себя наложила?

– Ага.

– Чего ты пристаешь, Лиза? – вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся. – Это че же – значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине – всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли?

Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, – как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить – до-оставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло – нету.

Лиза легонько повинулась:

– Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

– Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить – берегись. Не пожалеем – это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

– Не виноватые.

– Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от

самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня, у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим – понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребяташки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

– Ему не давали – вот этому.

– Он только пришел.

– Дядя Максим, ему не давали.

Ребяташки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

– Ты откуда здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

– Ты, что ли, Родион? – глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

– Ну, здорово, что ли. – Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку. – Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? – Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребяташек, и протянул его Родьке. Тот взял. – Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся.

А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

– Смотри, как вырос, – с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

– Они растут, – бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. – Им и война нипочем.

– Скоро она кончится, война-то? – спросила вдруг Лиза. – Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам – долго еще ждать?

– Для тебя она кончилась, – негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

– Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видеть, а с народом.

– Скоро, бабы, скоро, – ответил Максим. – Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додают.

– А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

– Заворотят? – Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. – Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные



пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

– Четыре года – куда больше? – закивала Василиса Премудрая. – И мы тут поизносились.

Надька не пропустила:

– Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

– Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

– И нам досталось, – подхватила Лиза. – Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа – это ладно, свое. А только хлебушек уберем – уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше – с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что – выворачивай, бабоньки, тужься. Где вывернешь, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась – сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась – не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала – я ручьем заливаюсь, реву. – На глаза у Лизы навернулись слезы. – Она

пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. — Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. — Реву и реву, ниче не могу с собой поделать. Не могу.

— Лиза, Лиза! — останавливая ее, позвал Максим.

— Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. — Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья. — А облигации? — напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. — Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать — только б рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, дураем, легче им там хоть сколько будет. А мы тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

— Кто из нас, непонятно, — я или ты сегодня мужика дождалася? — спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

— Я, Надька, я. Больше не буду.

— У нас все шиворот-навыворот, — обиженно загудел оловевший Нестор. — Что за народ! На войну мужиков провожали — пели, а встречаем — как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе пер-

вых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стен-ки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премуд-рая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, всту-пила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и за-тряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и под-няла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед На-стенкой стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми – как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет пра-ва. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством – ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обра-щая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и расте-рявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Пре-мудрая; и простоватая, задиристая Надька – все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя – без этого

человек не живет, — то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то казалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, — против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину — малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет — с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается: всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинанием, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его выволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибаясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулочек к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло – раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном – жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только

что, минуту назад, все выдумала – и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей, – выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой – предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением, и несло тоже вниз – верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побегит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горо-

хом – во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти десять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку – на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй, даже удобней, но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты – женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе, – ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты – того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковой и теплой, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, бе-



регла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет – этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, Богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг, – видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью – не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно – заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя – не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час – до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и принаравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит – мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились; уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести

– тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, верховой же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе – мощным и длинным гудом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белевым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна – март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утартало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмерз-

шего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, — по этим приметам и шла. Она устала, поначалу судру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный, — неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него — там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, — дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащила в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и выиграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза, — это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее — все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости,

она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит, – голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив, – то был уже материк. Через Ангару, слава Богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы,

глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала – другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение – чем-то еще; она боялась думать, что это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбивало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

– Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери, – она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала – это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

– Мог бы встретить, – капризно и запальчиво выкрикнула она сквозь слезы. – Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

– Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

– Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимнейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали горящие дрова, да еще позванивала в окошке стеклина – единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

– Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

– Что прибежала-то? – снова вскидываясь, передразнила она. – К тебе прибежала – вот что! Он еще спрашивает! – Уже другим, остывшим голосом она ответила: – Ничего не стряслось.

– Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя, и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

– Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

– Как крот, – согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: – Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все

перепутал.

– Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? – Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

– Ущицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

– Только я на улицу больше ни за что не пойду.

– Сиди, я сам.

Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину – хорошего, килограмма на три, налима – и со стуком опустил его на стол.

– Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, – удивилась Настена.

– Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

– Ну, еще бы не фартовая, – с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось уже и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно на-

ткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком – рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам. Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев.

Хорошо сказано – «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто, ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть, и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он



мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой. Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ошупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея – его ли? Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала, – пугала и запутывала себя почему зря. Но особенно неприятно было лечь на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полоч, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завывать.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в

глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях – рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло – еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

– Андрей, знаешь что?

– Что?

Но она передумала:

– Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно – сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

– Закрывай скорей.

– Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

– Ага, послабже.

Он подошел и присел к ней.

– Все еще не согрелась, что ли?

– Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдаёт. Сюда-то до смерти пристала.

– Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

– Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи – кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка... – Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

– Отец ни о чем таком не спрашивал?

– Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

– Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

– Придумать-то придумала... – Настена поморщилась.

– И что придумала?

– А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

– Тяжело тебе, Настена?

– Да нет. – Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой. – Вот за тебя сердце болит. – Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала. – А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый Божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

– Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

– Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится – наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать – что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. – Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: – Забеременела, кажется, я, Андрей.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.